

Валерий Брюсов

Моцарт



*Часть сборника
Моцарт (сборник)*



Валерий Яковлевич Брюсов

Моцарт

Текст предоставлен издательством «Эксмо»
http://www.litres.ru/pages/biblio_book/?art=174063
В.Брюсов Моцарт: Эксмо; Москва; 2008
ISBN 978-5-699-26322-6

Аннотация

"... Латыгин солгал, сказав Мине, что от Андроновых пойдет к Меркинсону: хотелось скрыть от жены, куда уйдут час или два времени.

Выйдя от Андроновых, Латыгин сел на трамвай и поехал на другой конец города, тоже в предместье, на – скую улицу. Там жила Маша, тихая, скромная, робкая девушка, служащая на телеграфе, с которой «Моцарт» сблизился, сам не зная как. ..."

Содержание

1	4
2	9
3	17
4	25
Конец ознакомительного фрагмента.	26

Валерий Яковлевич Брюсов

Моцарт

Лирический

рассказ в 10 главах

1

Где-то на башенных часах не спешно пробило два часа ночи. Протяжный бой с перезвоном колокольчиков как бы разбудил Латыгина. От выпитого вина, – вернее, спирта, разбавленного водой, – мысли сплетались бессвязно, путались в какие-то узлы и вдруг обрывались. До сих пор он шел машинально, как будто ноги сами вели его, и теперь вдруг заметил, что идет по неверному пути. Бессознательно Латыгин направлялся к той плохонькой гостинице, где жил два года назад, при своем приезде в Х., да и жил-то недолго, всего несколько недель.

Латыгин остановился и огляделся. Центр города, с каменными небоскребами, с зеркальными окнами магазинов, с электрическими лунами, с широкими асфальтовыми тротуарами, остался далеко позади. Начиналось предместье, ведущее к – скому вокзалу, и вдаль уходила широкая улица,

обставленная заборами да деревянными двухэтажными домишками, среди которых одиноко высились два-три кирпичных гиганта, бесстильных, ярко выраженного типа «доходных домов». Кругом было пусто: ни одного извозчика, ни одного прохожего. Во всех окнах уже было темно; светилося только одно окошко, в большом доме, почти под крышей: какой-то труженик, должно быть, урывал часы у своего сна, чтобы добыть несколько лишних рублей, если не копеек.

Надобно было идти домой. Латыгин ясно сознавал это сквозь хмельной туман, застилавший мысли. Куда же, как не домой? Круто свернув в переулок, почти не освещенный, – тускло горели керосиновые фонари, уже погашенные через один, – Латыгин зашагал быстрее. После еще нескольких поворотов замелькали слишком знакомые дома и заборы с запертыми воротами, наизусть известные вывески, те же ямы на изрытом тротуаре, те же доски через постоянные лужи. Куда же, как не домой? Но в то же время идти домой было почти страшно.

Латыгину отчетливо представилось лицо жены Мины, которая, вероятно, ждет его. Она знает, что сегодня он получил деньги, двадцать пять рублей, и догадывается, что он не устоял пред искушением – пошел к Карпову, у которого 1 и 20 числа сходятся играть на товарищеских началах. Полгода назад Латыгин проиграл у Карпова пятьдесят рублей – деньги, которые следовало отдать за дочь в гимназию. Мина, может быть, думает, что и сегодня все полученные деньги оста-

лись там же. Она встретит попреками, жалобами и, что всего мучительнее, будет права... Да! в их положении должно теперь рассчитывать каждую копейку, а Латыгин действительно проиграл, не все деньги, но все же шесть рублей, и за карты и за вино заплатил два; от 25 осталось 17, да! 17... Латыгин потрогал карман, где лежало портмоне с этими деньгами.

Потом Латыгину представилось лицо дворника, который будет отпирать ворота: грубое, дерзкое лицо хама, раболепствующего перед теми, кто бросает ему на чай полтинник, и оскорбляющего тех, кто лишь изредка сует ему в руку гривенник. Латыгину стало почти физически больно, когда вспомнились унижительные подробности того, как дворник, заглянув в окошечко и узнав пришедшего, не спешит отворять ворота, потом запахивает их, едва дав пройти, и еще злобно что-то ворчит вслед, нарочно почти громко, чтобы были слышны ругательные слова. Вспомнились стихи Пушкина:

О бедность, бедность,
Как унижает сердце нам она!

Но сейчас же вспомнились другие стихи великого поэта, вспомнился «Моцарт и Сальери». Соседи, в насмешку, прозвали Латыгина – Моцартом как музыканта, скрипача. Они не знают, как они близки к правде:

Ты, Моцарт, – бог, и сам того не знаешь!

.....

Как некий Херувим,
Он несколько занес нам песен райских...

.....

Что пользы, если Моцарт будет жив?

Латыгин был уже у своих ворот. Надо было звонить. Он, однако, помедлил еще несколько мгновений. Постарался выяснить, пьян он или нет. Кажется, он все сознает и рассуждает логично. Но все же было выпито лишнее; притом спирт, разбавленный водой, пьянит больше, чем простая водка... Чтобы еще отдалить минуту, когда надо браться за звонок, Латыгин задал себе еще вопрос: говорить ли жене о проигранных шести рублях? Завтра, может быть, он получит жалование за месяц у Андроновых. Срок, собственно, послезавтра, но завтра – урок; может быть, удастся совсем скрыть от жены проигрыш... И вдруг Латыгину стало мучительно стыдно, нестерпимо оскорбительно, что он может думать об этом, волноваться из-за 6 рублей, он, который вправе был бы бросать сотни, тысячи, да и в самом деле еще не так давно швырял, если не тысячи, то сотни. Злобно сжав зубы, Латыгин резко дернул ручку звонка.

Прозвучал неприятный, надтреснутый звон колокольчика. Улица была пустынна; дома по обеим сторонам стояли хмуро и безмолвно. Еще не начинало светать, и тьма казалась мертвой; небо было в сером тумане. Потом издали опять полетел перезвон башенных часов: било четверть третьего.

Тогда слышались шаги дворника: не то в валенках, не то в каких-то туфлях. Он долго гремел ключами, дважды посмотрел в окошечко в воротах, наконец отпер. Латыгин быстро сунул ему в руку приготовленный двугривенный; он дал бы и больше, но чувствовал, что будет смешно. Все же, проходя по двору, он явственно слышал за собой недовольное бормотанье и мог разобрать слова:

– Шатаются... тоже... музыканты... Моцарт!

Латыгины занимали маленькую квартирку в полудеревянном флигеле в глубине двора. Внизу были каменные погреб-ба, служившие для «барских» квартир другого, большего дома, фасадом выходившего на улицу. Деревянный верх флигеля был приспособлен под жилье: две крохотных комнатки, третья – темная и кухня, бывшая в то же время и прихожей, так как через нее был единственный вход. Зимой во флигеле было нестерпимо холодно, порой не больше 6—7°; если бы даже топить втрое больше, чем сколько позволяли себе Латыгины, – невозможно было удержать тепло в ветхих стенах и нельзя было защититься от стужи и сырости, проникавших из погребов, снизу. Но квартира была совершенно уединенная, Латыгин мог хотя бы целый день играть на своей скрипке, не мешая никому. Никто не мешал и ему, кроме криков на дворе, к которым он скоро так привык, что просто не слышал их – разве уж очень выдастся голосистый разносчик, предлагающий: «Клубника, малина, черно-смородина!» Это уединение и заставляло «Моцарта» держаться за свою квартиру: нигде он не получил бы за ту же скудную плату такой обособленности ото всех.

Чтобы попасть к себе, Латыгину надо было взойти по темной и грязной лестнице с обтертыми ступенями, очистить которую не было никакой возможности. Уже проходя через

двор, он увидел у себя в окнах свет: стало быть, жена не спала и дожидалась. При звуке шагов по лестнице отворилась верхняя дверь, и Мина показалась в четырехугольном про свете – тонкая, стройная, еще изящная, несмотря на все лишения жизни: словно картина в раме на фоне белого света... Свет был за спиной Мины, и Латыгин не мог различить ее лица, но знал, что на нем – укор и вопрос, и потому, сделав над собой усилие, быстро переступил последние ступени и почти вспрыгнул на верхнюю площадку. Протягивая обе руки, Латыгин быстро проговорил, предупреждая все упреки: – Мина, прости, я – виноват.

Но она не взяла его рук и не дала обнять себя, но молча посторонилась, дала ему пройти, затворила и заперла дверь, потом пошла за ним, с лампой в руке, когда же он, миновав столовую, прямо вошел в спальню, спросила коротко и сухо:

– Ты, может быть, хочешь есть? Ты голоден?

Латыгин обрадовался, что Мина заговорила о другом, что роковое объяснение, может быть, отложено будет до утра, и отвечал торопливо:

– Нет, благодарю. Ты знаешь, я зашел к Карпову, не играть, так посидеть, и засиделся, упрашивали очень. Мне самому досадно, что так поздно. Но мы ужинали. Только я очень устал, я лягу, да и ты ложись, напрасно ждала меня.

Мина, все молча, продолжала смотреть в лицо мужа, конечно, поняла, что он пил, и вдруг, поставив на стол лампу, сама упала на свою кровать и зарыдала, повторяя только:

– Ах, Родион! Ах, Родион!

Если бы жена встретила бранью, Латыгину было бы легче. Бывали у них ссоры, когда доходило почти до драки. Мина, вне себя, бросала в мужа графин, пресс-папье, что попадало под руку. Бывали безобразные сцены, когда Латыгин чувствовал озлобление и на брань отвечал бранью, на обвинения обвинениями. Тогда они говорили друг другу жестокие слова, которые после стыдно было вспомнить. Но перед этими почти безмолвными слезами Латыгин сознавал себя бессильным, безоружным. В ту минуту, считая жену бесконечно правой, он сознавал себя преступником. Беспредельная жалость к этой женщине, которая двенадцать лет переносила с ним все неудачи и беды его тревожной жизни, заливала его душу, в то же время так же беспредельно ему было жаль и себя, полунищего, полупьяного, стоящего здесь в этой убогой комнате, ночью, после грубой попойки в среде грубых и низменных приятелей, перед рыдающей женой.

Мина все рыдала, пряча голову в подушку, чтобы не разбудить дочь, спавшую в соседней «темненькой» комнатке, а Латыгин стал перед кроватью на колени и лепетал бессвязно оправдания:

– Милая! Мина! Миночка! Ну, прости меня! Я – негодяй. Я поступил низко. Ты здесь тревожишься, ждешь меня, а я ушел пьянствовать вместе с какими-то чиновниками, писцами, телеграфистами. Но пойми! Работаешь дни, недели, месяцы. Наконец, становится нестерпимо. Хочется хоть раз

позволить себе что-нибудь! Ведь ты же понимаешь! Неужели есть для меня какая-нибудь радость в обществе этих Карповых? Мне с ними говорить не об чем. Но надо хоть на час забыться, вот – выпить несколько рюмок проклятого спирта, почувствовать себя прежним, с прежней волей, с прежними надеждами. Но конечно, конечно! Этого не должно быть, этого больше не будет, никогда, клянусь, никогда более. Но ты должна понять: это только чтобы забыться, на один час забыться, только!

Мина приподняла голову от подушки и горестно прошептала:

– А я? А почему я не стараюсь забыться? Мне разве легче живется?

Латыгин не нашел, что ответить, и опять залепетал свои оправдания и уверения. Слова соскальзывали у него с губ как-то сами собой, а сам он думал: «В самом деле! Мы оба несчастны. Мы могли бы понять друг друга! Почему же мы никогда не говорим откровенно? Почему, вместо того, чтобы идти к Карпову, я не пришел к жене – и мы вместе плакали бы, и, может быть, было бы нам обоим так хорошо! Ведь, правда, она очень несчастна, очень...»

Между тем рыдания Мины постепенно стихали. Сначала она сопротивлялась, потом дала мужу поцеловать себя. Еще после села на постели и спросила деловым тоном:

– Говори: сколько растранижил?

Вульгарное слово больно укололо Латыгина. Опять он по-

чувствовал себя чужим с этой женщиной. Но, сдержав себя, ответил кротко:

– Я не играл, Мина, совсем не играл (это была ложь). Я только заплатил за вино, несколько рублей всего, рубля два, три...

Мина всплеснула руками.

– Три рубля! А у Лизочки башмаки в дырах. В гимназию ходить стыдно.

С новой силой охватило Латыгина чувство унижения от того, что он должен рассчитывать каждый рубль, – о бедность, бедность, как унижает сердце нам она... «Ты, Моцарт, – бог, и сам того не знаешь!» В эту минуту Латыгин ненавидел жену за ее мелочность, за ее мещанство, за ее неспособность понять его, своего мужа. «Она говорит со мной, как если бы я был Карпов, телеграфист, живущий от 20 числа до 20-го! Моя истинная жена – не она, а моя скрипка. Ты знаешь, кто я и что я!» И Латыгин вдруг встал с колен. Ему уже было все равно, что еще скажет жена; он готов был встретить все ее упреки спокойным презрением.

Но порыв Мины прошел. Он был создан нервным напряжением всего дня, утренним приключением с соседями, мучительным ожиданием мужа, невеселыми одинокими думами об их положении. Обратив внимание на мужа, Мина увидела, как он бледен, как дрожат его руки. В свою очередь ей стало невыносимо жаль его, и она тоже стала просить прощения.

– Прости меня, Родион! Я не хотела обидеть тебя. Деньги – твои, ты их зарабатываешь. Но нам этот год так тяжело живется! И потом, что я без тебя пережила! Соседи узнали, что я – немка, и тут целой толпой кричали, чтобы мы уезжали сейчас же. Я боялась одно время, что ворвутся и начнут бить. А я была одна, и Лизочка еще не приходила. А какая ж я немка! Я и слова по-немецки не знаю. Разве я виновата, что мой отец был немец? Да и куда мы отсюда пойдем? Осень, все квартиры заняты. И не пустят, узнав, почему уезжаем. Я весь день проплакала, только от Лизочки скрывала, тебя ждала, а ты не идешь...

Она опять заплакала, на этот раз от воспоминаний о перенесенной обиде. Но то были уже добрые, тихие слезы; она плакала, как маленькая девочка, которую наказали несправедливо. Родиону вспомнилась неволью Мина такой, какой была тринадцать лет тому назад, когда он с ней познакомился: скромной, робкой, запуганной девушкой, тоненькой-тоненькой, как былинка, с гладко зачесанными белокурыми волосами Гретхен, с глазами всегда не то изумленными, не то испуганными. Вспомнились первые свидания, в Москве, в Сокольниках, день, темнеющий между красных сосен, и та скамейка, на которой он, Родион, тогда еще юноша, ученик консерватории, впервые обнял и поцеловал Мину и сказал ей, что любит ее. Какая она была тогда маленькая, словно вся исчезла в его объятиях, как птичка в зажавшей ее руке. Впрочем, не такая ли маленькая она и теперь, не та же ли

перед ним девочка Мина, несмотря на эти двенадцать лет, и их дочь Лизочку, и все, что было пережито потом!

Еще раз чувства Латыгина изменились. Он подошел к постели, сел рядом с Миной, обнял ее. Не так ли они сидели в тот лунный вечер на скамейке в Сокольниках? Что годы, если в душе все та же любовь и та же радость сжимать это хрупкое, маленькое тело? Мина прошептала тихо, словно делая последнее усилие:

– Ложись, Родя! Скоро – три часа. Завтра у тебя урок. Надо тебе выспаться.

Латыгин постарался как бы не слышать последнего слова, которого не сказала бы «та» Мина. Но он еще теснее прижал к себе жену, и при слабом свете маленькой лампы ее лицо ему представилось девически свежим и молодым. Он различил слабый запах духов, к которым у Мины всегда была слабость, которую она никак не могла преодолеть, и это почему-то ему казалось бесконечно трогательным и прекрасным. Было ли то влияние выпитого вина, но уже все рисовалось Латыгину как нежная сказка, красивая мелодия. Он ближе наклонился к лицу Мины.

– И ты ложись, моя девочка, – шептал он, – ты устала, бедная, я замучил тебя сегодня. Но я тебя люблю очень, всегда люблю, и ты не верь другому. Ты – моя Мина, Миночка, милая, маленькая...

Он расстегивал пуговицы ее платья, словно они были любовники, а не муж и жена, двенадцать лет ложившиеся спать

в одной комнате. Вид худенького, изможденного тела жены вызвал новый порыв жалости и нежности. Латыгин опять стал на колени и целовал жену в грудь и плечи. А она, стыдясь как девушка, стыдясь всего больше неожиданных ласк, от которых так отвыкла за последние годы, сопротивлялась и торопилась сама снять кофточку, юбку, башмаки.

– Я люблю тебя, Мина, – повторял Латыгин.

– Тише, тише, Лизочка услышит, – останавливала жена.

Она покраснела, гася лампу.

Стало темно в маленькой комнатке, почти сплошь заставленной двумя кроватями и большим, странным комодом. Было тихо за окнами и тихо в доме; только часы в столовой как-то хрипло стучали, качая свой маятник, два голоса, подавленные до последнего шепота, еще говорили что-то. И, заглушая поцелуями, чтобы не разбудить дочь, двое любовников – муж и жена, прижимались друг к другу на узкой постели. И каждый из них был счастлив в эту минуту – тем избыточным счастьем, которое приходит после слез и волнения. Хотелось не думать ни об чем ином, все забыть, чтобы живым, истинным было вот только это мгновение, этот поцелуй в черной темноте.

На другой день Латыгин, как всегда, проснулся часов в восемь. Он чувствовал себя свежим и бодрым; от вчерашнего хмеля не оставалось следа. Как что-то чужое, вспоминались и вчерашние волнения и мысли. Жена уже встала и хлопотала на кухне; слышно было, как она стучала посудой.

Быстро одевшись, Латыгин также прошел в кухню, так как умывались там. Он увидел жену, полуодетую, непричесанную, и она показалась ему бесконечно далекой от той девочки – Мины, которая пригрезилась ему ночью. Опять перед ним была женщина преждевременно состарившаяся, с морщинками у глаз, с красными руками, загрубевшими от стряпни и другой домашней работы. Первые же слова, которые Мина произнесла, как бы оцарапали душу Латыгина, что-то грубое, вульгарное послышалось ему в них.

– Ну как спал, мой пьянчужка? Каким ты, однако, еще можешь быть с женщинами! Когда захочешь, конечно...

Мина это произнесла ласково. Она еще была полна порывом нежности, и ей хотелось сказать что-нибудь приятное, льстивое мужу. Но он душевно весь как-то сжался. «Зачем она это? – подумал он с болью. – Не надо, не надо было этого говорить! И напоминать было не нужно!» Чтобы не поддаться враждебному чувству к жене, Латыгин спросил ее:

– Лизанька еще спит?

– Только что разбудила: пора в гимназию собираться.

Мина варила кофе; Латыгин умывался. Ему хотелось бы сказать что-нибудь жене, но было нечего. Он испытывал вновь великую отчужденность от нее. Мелькнула даже мысль: «Пожалуй, и сегодня охотно я ушел бы опять к тому же Карпову...» Стекала вода, шумел кофейник, но двое, бывшие в комнате, молчали.

– Ну, идем пить кофе, – позвала Мина.

За столом стало еще мучительнее. При всех усилиях Латыгин так и не мог найти ни слова, чтобы сказать жене. «Заговорить разве о деньгах? – подумал он. – Ведь нужны на расход и платить надо лавочнику... Нет, еще нестерпимее будет!» Он молчал и пил горячий напиток. По счастью, вошла дочь.

Лизе было одиннадцать лет. Она была похожа на мать, какой та была в юности, маленькая, хрупкая. У нее были голубые глаза и белокурые волосы. Но, как у всех детей, живущих в нужде, выражение лица было серьезным, не по-детски строгим. Латыгин любил дочь, не всегда, но по большей части, и сейчас обрадовался ей очень.

– Здравствуй, папочка!

– Здравствуй, милая девочка.

Он поцеловал Лизу в щеку, и вдруг ему стало легко и тотчас вспомнилось, об чем надо было рассказать жене.

– Ах, да! Знаешь, Мина, – заговорил Латыгин почти весело, – ведь я вчера недаром побывал у Карпова. Вчера только

мне этого тебе рассказывать не хотелось, чтобы не оправдывать себя. Потому что пошел-то я, не зная, что это так случится, У Карпова был Меркинсон, знаешь, виолончелист. И он опять предлагал мне место в оркестре, – первой скрипки; сам заговорил. Я ответил, что подумаю, но решил принять.

– Ты? в оркестр! – с упреком переспросила жена.

– Да, я долго отказывался, но вижу, что жизнь не переспоришь. По крайней мере, будет обеспеченное жалование. А теперь ведь мы каждый день висим на волоске. Вздумается завтра Андроновой прекратить уроки, вот мы сразу лишимся половины наших доходов. Довольно! Я отказываюсь от всех моих грез и иллюзий! Пора трезво смотреть на вещи.

– Папочка, – тихо сказала Лиза, – не надо так говорить. Подожди, тебя все оценят.

– Ах, Лиза! – воскликнул отец, говоря с 11-летней девочкой, как со взрослой, – я ждал, вот пятнадцать лет, как я жду! У меня уже седые волосы, а ничего не изменилось! Исполнялись мои вещи в концертах, я сам играл свое перед избранной публикой, в Москве, в Петрограде, и ничего не изменилось! Да, есть такие, которые меня поняли; и писали обо мне, в газетах, очень лестные статьи, а все же – кто меня знает? Многие ли слышали о композиторе Латыгине? Может быть, лет через пятьдесят меня оценят. А пока что надо об этом не мечтать, а покориться тому, что есть.

– Папочка! – попросила Лиза, – сыграй мне что-нибудь перед тем, как мне уходить.

Девочка не могла доставить большей радости отцу, как попросить его сыграть. Латыгин послушно достал скрипку, подтянул струны, провел несколько раз смычком; потом спросил с улыбкой:

– Что же тебе сыграть?

– Колыбельную, папочка.

– Нет, девочка, это – старое. Так я писал двенадцать лет тому назад, с тех пор я многому научился. Нет, я сыграю свою «Пляску медуз». Ты знаешь, что такое медузы? да? Так вот представь себе, что они собрались на бал и хотят танцевать, – в море, конечно. Вода кругом светится, – бывает такое свечение моря, – на небе звезды и луна, в глубине проплывают большие рыбы, акулы, например, а на поверхности, на глади волн, потому что нет ветра, пляшут хороводами медузы. Слушай.

Латыгин заиграл...

Жена и дочь были плохие критики. Они мало смыслили в музыке, но им казалось, что «Моцарт» играет что-то чудесное. И ему самому казалось, что он создал шедевр, равного которому нет в современной музыке. В «Пляске» была как будто вся строгость старой школы, но в условные формы влита дерзновенность новых звукосочетаний. Мелодия была гениально проста, но найдена впервые с сотворения мира и окружена всей роскошью современной гармонизации. Это было классическое создание, которое нельзя забыть, услышав его однажды... Так казалось Латыгину, когда он играл.

Играя, он упивался своими звуками; видел фосфорический свет воды, мерцание созвездий в небе, медленно проплывающих акул, скатов, стаями собравшихся маленьких рыбешек, и пляску студенистых медуз, составивших хороводы; чувствовал соленый запах моря, веянье южной ночи, радость безбрежного простора; угадывал, где-то вдалеке, тихо подымающийся над горизонтом силуэт огромного океанского стимера; в звуках было это все, и больше, больше, безмерно больше того!

– Милочка, тебе пора в гимназию, – поспешно сказала мать, едва Латыгин остановился, а звуки последнего аккорда еще замирали.

«Моцарт» вздрогнул. Его вернули к действительности, к этой бедной, почти нищенской обстановке, к стакану остывшего кофе, к лишним пяти рублям, истраченным вчера. Он положил скрипку молча, но Мина поняла его чувство.

– Прости, Родя, – сказала она, – но иначе девочка опоздает.

– Спасибо, папочка, спасибо! – говорила Лиза, обнимая отца, – это дивно хорошо!

Мать заготовила ей завтрак, завернутый в бумагу, принесла книги и тетради, осмотрела платье.

– Уроки знаешь?

– Знаю, мама, все знаю; сегодня легкий день: закон божий, русский, география...

– Ну, ступай.

– До свидания, папочка!

Мать с дочерью вышли из комнаты. Латыгин сидел один, задумавшись. Неужели можно не понимать красоты его композиции? Так просто, так чисто, так певуче, так трогательно и так величаво! «Или я безумец, – думал „Моцарт“, – или все люди лишены слуха. Почему я понимаю красоту Бетховена, стариков, и красоту новых, и Дебюсси, и Скрябина, и Стравинского, и вижу, ясно вижу, красоту своих сочинений? А другие в моей музыке ничего не видят, говорят, что я то подражаю, то нарушаю законы! Ведь это же неправда! Ведь есть же у меня слух: иначе я не понимал бы Бетховена!»

Латыгин опять было взялся за скрипку, но вернулась же-на.

– Тебе тоже пора, Родя! – осторожно напомнила она.

– Да, да! Я сейчас иду: урок половина десятого.

Латыгин встал; ему захотелось поскорей уйти из дому.

– С урока ты прямо домой?

– Нет, я должен зайти к Меркинсону. Будь что будет, я решил взять место в оркестре.

– Ты совсем обдумал это дело?

Мина спрашивала робко; в душе она считала, что Родион давно должен был принять приглашение в оркестр, но знала, что играть в оркестре Латыгину казалось унижением. Он ответил грубо, отрезал:

– Обдумал совсем!

«Боится, что я передумаю!» – злобно подумал он. Потом

все же захотелось сказать жене что-нибудь приветливое на прощание: так испуганно взглянула она при резких словах.

– А ты не утомляй себя, не хлопочи там об обеде. Мы поедем, что найдется, и все будет хорошо. Да! тебе нужны деньги?

– Нужны, – тихо проговорила жена.

Одно мгновение Латыгин хотел отдать все, что у него было. Но тогда жена увидела бы, что он истратил больше, чем сказал ей. Торопливо он вынул десятирублевку и подал Мине; знал, что этого мало, и, чтобы прервать разговор, спросил еще:

– А ты пойдешь куда-нибудь?

– Я пойду к Дьяконовым, они мне говорили про квартиру, знаешь, Родя, нам здесь нельзя оставаться, я при Лизочке не хотела говорить, но вот ты уходишь, а если опять...

Она говорила быстро, видела, что муж хочет уклониться от обсуждения вопроса о квартире, и спешила все высказать. Но Латыгину вдруг стало нестерпимо – разбираться во всех этих мелочах, высчитывать, хватит ли денег на переезд, разбирать сравнительные достоинства разных убогих помещений, которые можно снять... Нет, нет! Когда-нибудь после, не сейчас.

– Милая! Ты прости, но ведь я опоздаю. Не бойся, ничего не случится, сегодня все заняты. Да, я все-таки скоро приду.

Говоря, Латыгин торопливо, захватив скрипку, прошел в кухню, надел пальто, привычным движением поцеловал же-

ну где-то около глаз и почти выбежал на лестницу. Мина осталась одна, горестно глядя на десятирублевую бумажку в своей руке. Потом, словно обессилив, Мина опустилась на стул около плиты и заплакала тихими, тягучими слезами, всхлипывая и не отирая глаз.

Андроновы жили в лучшей части города, и Латыгину пришлось пройти порядочное расстояние, пока он дошел до пышного подъезда их особняка. Как всегда, последовала тягостная сцена в вестибюле, где важный швейцар прислуживал музыканту как бы нехотя и умел в свою выученную почтительность вложить все свое пренебрежение к учителю в потертом пальто. Небрежно, не положив, а «ткнув» шляпу «Моцарта» на полку, швейцар заложил руки за спину и произнес шепотом, в котором ощущалась затаенная насмешка:

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.